

## ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

**Д**

омовитых на селе уважают, потому и зовут их исключительно по имени-отчеству. Это в глаза. А уж как кличут подобных мужиков за их спинами, это от одного народного таланта зависит.

Ивана Сергеевича величали за глаза просто и без фантазии — Куркуль. Зато в лицо обращались уважительно — Иван Сергев, на местный манер так выходило.

При советской власти он, как и все его соседи-односельчане, работал слесарем на заводе в райцентре. Соседи с полочки расслаблялись, а Иван Сергев — нет. Он спешил домой и всегда прихватывал с работы, как он сам говорил, непотребный сор — то пару-тройку электродов, то моток проволоки, то гайку. «В хозяйстве все годится, нечего тут добру ржаветь». Когда пришла пора выходить на пенсию, от подобного «добра» у него ломился чердак и лопался сарай. Его пожилые одноклассники-пенсионеры, старея, как один ударялись в рыбалку, а Иван Сергев глупостями не страдал: он варил по дворам угольные котлы и монтировал отопление. Выполнял работу не торопясь, благоговейно, будто священнодействуя. Сдавая хозяевам результат, кланял-

ся, по три раза пересчитывал гонорар и прятал его в специальный мешочек, что болтался под одеждой на шее. Прощаясь, желал хозяевам жить и богатеть. Когда просили поработать в долг — он не отказывался, но после каждый вечер навещал должника. Будто просто так. Придет покурить по-соседски, про погоду что-нибудь скажет, усядется у калитки с хозяевами и кряхтит. Так и ходит, пока должника от этих визитов не затошнит. Тогда уж несчастный займет-перезаймет, вывернется весь, но с Куркулем рассчитается.

Самодельные котлы в первую же зиму закипали и раздувались, батареи начинали течь. Тогда стареющий Иван Сергев подряжался это хозяйство ремонтировать. Других спецов по этой части в селе все равно не водилось.

Жил Иван Сергев с дочерью и внуком. Когда внук пошел в школу, дочка решила записать его и на музыку тоже. Иван Сергев узнал, во сколько станет ему внукова музыкалка, и похолодел. Но потом кое-что подсчитал и согласился. Согласился, правда, с условием, что внук непременно пойдет по баяну. «Вырастет, на свадьбы станет наниматься. Баянист всегда деньгу зашибет, прокормится. И руки притом чистые». Внука в музыкалку не взяли по причине отсутствия слуха. Иван Сергев узнал, что внук не заколотит барыша, и затужил. Потом вспомнил, сколько кровных могло бы утечь на внуково обучение, и успокоился. Если б Ивана Сергева в последние двадцать лет кто-нибудь звал погулять на свадьбе, он бы знал, что в нынешний век компьютеров профессия свадебного баяниста навсегда умерла.

Так вот и жил, богатея, слесарь-самородок, пока в одну нехорошую весну по кривым сельским улочкам не потянулись желтые трубы — пришла беда под названием «газификация». Угольные котлы все лето массово сдавались скупщикам лома, и их знаменитый котельный Кулибин оказался не у дел. Иван Сергев горевал все лето и однажды осенью даже напился. Наутро сильно маялся головой, хотел было послать внука за опохмелкой, да вовремя вспомнил, что вчерашняя бутылка и так денег стоила. А с деньгами нынче ну просто беда...

Как-то вечером он тосковал на лавочке возле двора. По селу несло дым — соседи палили ботву. Вырыли, стало быть, картошку. Дочь пропала на работе, внук где-то отирался. Иван Сергев глядел на остывающий сентябрьский закат, курил и вздыхал. С дальнего поля долетало ворчанье трактора — заезжий фермер осваивал местные заброшенные поля. Возле бывшего котельного мастера затормозил на велике кум:

— Здорово, Сергев!

— И тебе не хворать. Далеко, на ночь глядя?

— Да вон, слышу, пашут. Дай, думаю, доеду до тракториста, может, найму огород вспахать. Ты ж знаешь, у меня сорок соток. То дети из города наезжали, лопатили, а то что-то никого. «Заняты», — говорят. Ага. — Знамо, заняты. Я б тоже занятым сказался... Хех — сорок соток лопатой!

— Ты-то? Понятно. А положили б тебе, скажем, по тыще за сотку?

— По тыще... Кто ж по тыще положит? Ты, что ли? По тыще ты и сам бы...

— Да вот. Ты не знаешь, сколь нынче берут, чтоб трактором? Проплый год, говорили, будто по три червонца?

— Не знаю.

— Ладно, может, как-нибудь договорюсь. Помнишь, как раньше —

за магар. Что вот за магарыч бы не вспахать, а? Что ему? А то по три червонца... Еще сват звонил, просил за его огород тоже спросить. Ладно, поеду.

— Кати.

Кум укатил. А Иван Сергев принялся умножать три червонца на срок кумовых соток. Получалось не то, чтобы как за котел, маловато. Потом вычел из результата стоимость солярки и расходы на амортизацию. Вышло уже совсем жиденько. Зато, когда умножил жиденький результат на количество огородов сперва на своей улице, потом на улице Ленина, прибавил огороды в Кривом переулке, на Ершовке и за Маминым оврагом, даже присвистнул. Трясущимися руками достал «Приму», закурил.

— Вот это ж какие деньжищи загребет тракторист!

Солнце село, ветерок стих, дым с огородов придавило книзу, и глаза защипало. Зависть изнутри больно торкала в ребра, стучала в виски. В сумерках кум скрипел на раздолбанном велике к своему двору. Иван Сергев слышал, как кум бросил кому-то через забор, что не договорился, и еще добавил что-то склизкое про морду тракториста. Дочь вернулась с работы, прибежал внук. Иван Сергев докурил и отправился в хату. Ужинать не стал, прошел сразу в свою комнатку, поднял матрац, достал жестяную коробочку и долго пересчитывал ее содержимое. Ночью Иван Сергев ворочался, вздыхал. Несколько раз выходил покурить, спотыкался, хлопал дверь. Утром, чуть свет, Ивана Сергева видели на остановке, откуда автобусы идут в райцентр...

Бабье лето выдалось таким, каким ему и полагается. Было все: и кленовое золото на взлобке за оврагом, и паутинки в лицо, и запах грибов в пестром лесу. Народ сносил в погреба картошку, палил ботву — тянуло горьковатым дымком.

На закате кум выполз на лавочку, закурил, задумался. Бог его знает, отчего. Так уж само получается — если погожая осень, то вечерами обязательно думается.

Солнце незаметно село. За оврагом под гаснущими облаками почернел лес. По проселочной дороге, что тянется к селу из леса, запрыгал огонек. Вот огонек спускается в балку — исчезает. Снова выныривает, дрожит. Потом огонек провалился в овраг, а когда вылез, кум услышал трактор. Спустя пять минут ржавый раздолбанный МТЗ въехал в улицу, прокоптил мимо кума, дохнул в лицо теплом и соляркой, звонко протряс развинченным четырехкорпусным плугом, встал возле двора Ивана Сергева, уронил плуг и заглох. Дверей нет, морда набекрень, крылья и стекла отсутствуют. В сумерках куму показалось, что подобную технику он уже видал: это когда внуки гостили, показывали ему боевик про апокалипсис и восстание машин. Из кабины высунулась нога, стала нащупывать подножку. Не наша подножка и убралась. Взамен ноги из кабины показался зад Ивана Сергева, и следом все та же нога потянулась нащупывать себе опору. Кум подошел, пособил спуститься, кивнул на сельхозтехнику:

— Это чево?

— Чево-чево! Будто не видишь? — Иван Сергев сиял.

— Твое что ли... это?

— Мое.

— Купил?

— Ммм... Понимаешь... По дешевке, грех было отказаться.

— Грех, говоришь, откажется? Да уж... А я все думаю, как эта марка называется... А это — грех! — кум ткнул пальцем в трактор марки «Грех» и расхохотался. Единственный подбитый глаз — фара — примотан проволокой, вместо подножки к раме приварена арматурина, под двигателем по земле растекается масляная лужа, тонкая струйка масла из трещины в шланге орошает отполированные до сияния отвалы и полусъеденные лемеха. Кум засомневался:

— Ну, и что с этим делать? Он же... — кум не договорил. Раздался хлюп, и на пожухлую траву из радиатора пролился кипяток.

— Ладно, представим, что в порядок ты это приведешь. Но объясни мне: зачем? От скуки?

— Э-э-э, бестолковый! Я ж для вас всех стараюсь!

— В смысле?

— Ну, охота тебе твои сорок соток лопатить, а? А тут — р-раз, и все!

— Ага. Ты его сперва заведи.

— Щас! — Иван Сергев достал с пола кабины тросик, намотал на пускач, напряжинился, рванул. Пускач чихнул, трос вырвался, ожег трактористу руку и засвистел на крышу дома. Иван Сергев собрался за ним лезть, но только тут обнаружил, что на дворе совсем стемнело. Приобретая, богатея и заботясь, он не заметил, как прошел короткий день позднего сентября.

Кум бросил ему: «Ну-ну», — и пошел домой.

Скоро проснулась луна. Она выглянула из-за разрушенной силосной башни, осмотрелась, медленно встала и засияла.

Кум бродил дома по комнате, маячил, выглядывал из-за шторы. В лунном сиянии старый МТЗ возле соседского двора казался мастодонтом. Он позвал свою старуху взглянуть в окно:

— Гляди, чего наш Куркуль учудил.

Старуха увидела мастодонта, облитого зеленоватым лунным светом:

— Это чего, никак трактор?

— Ага. Куркуль говорит, что пахать на ем будет. Хех!

— Ну и молодец он. Это ты, обормот, все чего-то шоркаешься, шоркаешься... И чего шоркаешься, дери тебя? А Куркуль всегда свою копейку возьмет.

— Эт как? По три червонца-то? Ну да, много он возьмет.

— Много не много, а ты прикинь: у тебя, дурака, по три червонца, в Кривом по три червонца, на Ершовке, опять же... Охо-хо...

— Эк, ты, мать честная! — кум вдруг озадачился, неприятно удивился. Старухина математика тлеющим угольком свалилась за пазуху, прямо в душу упала. Ох...

Когда включил новости, так и не углядел, что же там в Сирии, решили бомбить или как. Что-то жаркое припекает ребра изнутри.

Старуха погремела на кухне, позвенела посудой и отправилась спать...

Огни на улице погасли. За оврагом выбрехала своя забота последняя бессонная дворняга и село стихло.

Луна медленно плывет на запад. Над кумовым лежаком потукивают ходики — тик-так, тик-так, тик-так. Кум ворочается, скрутил, ерзя, жгутом свою заплатанную простыню. Вздыхает:

— Эт сколько ж Куркуль загребет? Ты подумай! В Кривом, на Ершовке... А еще ведь наша улица есть, улица Ленина, опять же. Еще и за Маминами оврагом огороды имеются. Эк, ты, мать честная! Охо-хо...

Всю ночь кум выходил на крыльцо, курил, мозговал. Хлопал дверью, скрипел половицами — будил старуху и та ворчала. Позвонил свату, поделился. Сонный сват выслушал его молча и послал. А тлеющий уголек в душе разгорался в большой всепожирающий пожар, и с этим пожаром надо было непременно что-то делать.

Когда проорали трети петухи и за окошком побелело, он-таки выдумал, как объегорить Куркуля.

Мешкать было нельзя. Вот-вот совсем рассветет, Иван Сергев выйдет к своему мастодонту, примется дергать пускач. Наверняка у него и масло имеется — заправит свой металлолом. Чего доброго этот хлам и правда заведется. И тогда...

— Эж, ты, мать честная! Не дай Бог!

Кум натянул штаны, влез в галоши и решительно шагнул с крыльца. Просунулся в сарай, долго там гремел — искал в сумерках потребный инструмент.

— Мешкать нельзя! Нельзя мешкать!

Наконец он обрел то, что искал...

С лопатой кум вышел на огород, поплевал на руки и вогнал ее в борозду.

— Сорок соток по три червонца? На-ка! Хрен тебе мои денежки! Куркуль...

Солнце поднялось, позолотило окрестности.

Ладони горели, отнималась нога, а край огорода ни вот настолечко не приближался. Кум потел, скрипел желтыми зубами, налегал на лопату:

— Этот жук придет наниматься, а я ему — кровопийце — шиш!

Где-то мычала корова, звенела колодезная цепь. Новое осеннее утро разливалось по миру. Костер в душе затухал, жар унимался...

А на Ершовке в это время, матерясь и охая, налегал на лопату сват.

## МАНГАЛ

Бабка Фрося проживала свой век в родной Воробьевке. Ей только-только перевалило за сотню, но соседи давным-давно уважительно величали ее «наш древний экспонат». Жила бабулька скромно: копалась в огороде, водила гусей, с того и кормилась. Ее единственная дочь — бабушка Маруся — слыла теперь покладистой девкой. В молодости, было дело, покуролесила, но теперь уже много лет пребывала вместе с мамой, почитала ее. Еще в хате водился кот. Других сожителей у старух не было. Не было и родных.

В свою восьмидесятую осень дочка Маруся как-то предложила:

— Ды, мама, ды чаво ж мы на одну-то мою пенсию существуем? Давайте вам хочь какую копейку выхлопочем. Вон, картоху не покупають. Сорок мяшков сами-то что ль с вами поядим? Ехайте в район, хлопочитя.

Бабка Фрося привыкла от зари до темна трудиться и совершенно не умела хлопотать по кабинетам. Лет сорок назад, когда она — бывшая до войны «элементом», а весь оставшийся век «пережитком», потому как богомольная — сунулась хлопотать о пенсии, с нее затребовали колхозные справки. В колхозе бабка не состояла, поэтому справок у нее не нашлось. Каким-то необъяснимым чудом, правда, паспорт себе все же спра-

вила, но с тех пор о «хлопотаниях» она и слушать не желала. А посему осадила «дочку»:

— Табе надо, ты и ехай. Чаво не хватает? Землю, как в те года, не отымають, картох Господь нонче сколь послал, авось продадим. Хлеб, вот он, со стола не сходит... — она взяла буханку, сунула дочери в нос. Потом поднесла к своему крючковатому и с наслаждением потянула воздух: — Это ж не хлеб — пасха! Когда лебеду ели, и под праздник такой не снился.

Бабка Маруся покорила матери и решила сама на досуге съездить насчет ее пенсии.

И то верно, что на досуге. Теперь сельский год на исходе. До хлопотаний ли? Дожди на носу, а картошка не пристроена, огород не вскопан, дрова не колоты, трубу бы еще к зиме переложить... «Ничего, женщины мы ищо — хоть куды. Бог даст, все осилим».

Старшую бабу на огород последние лет пять провожала младшая. Нет, у бабки Фроси силушка в руках все еще пребывала, и в ногах немного прыти оставалось. Вот только чтобы передвигаться, эти «прыткие» ноги надобно переставлять, а как раз на это сил не осталось вовсе. С рассветом бабка Маруся выносила мать на закорках. Вынесет, установит в начале огородной полосы, перегнет ее пополам и вручит на потребу инструмент. Полоть — значит тяпку. Копать — значит саперную лопатку. Так до заката бабка и движется по грядкам носом вниз, где лопаткой, а где и пальцами перетирает земной прах. Вечером — все в обратном порядке: дочь мамку разгибает и транспортирует в хату.

Теперь уже неизвестно, сколько бы продолжался такой привычный уклад. Как-то в ту осень бабка Фрося отработала свой «трудодень» до срока, не стала дожидаться дочери, попыталась разогнуться без подмоги. Тут-то ее нога и подломилась. С закатом Маруся нашла мать, лежащую в борозде и что-то бормочущую.

Врач прибыл уже к ночи. Осмотрел старуху, объявил: «Перелом». Еще он рассказал дочери, что в таком почтенном возрасте переломы не устраняются. Потом отвел бабу Марусю в сторонку и предупредил, что ей придется туго: сердце у пациентки «как молодое», здоровье лошадиное. Когда-когда еще помрет, а до этого ее, лежащую, надо обихаживать. Дочка пока еще не понимала, что за беда приключилась в их хате, она с улыбкой отмахнулась.

Когда врач спускался с крылечка, он обернулся и спросил:

— Да! Старушка-то... приезжая, что ли? Карточку-то ее мы не нашли!

— Своя, своя, — закивала дочь, — усю жизнь наша, воробьевская. Она просто в больнице ишо не бывала, вот и... Здоровая она у мене, вот и...

Удивленный врач покачал головой, улыбнулся.

И у старух началась новая, непривычная жизнь.

Маруся теперь горбатилась за двоих. Благо вскоре зарядили осенние дожди. Село раскисло. За порогом хаты стихла всякая суета. В порожние часы бабка Маруся присаживалась на мамину койку, устраивала бабу Фросю в подушки, и обе старушки давили локтями подоконник. А за окном серо. Облетевшая груша царапает веткой стекло, намокший воробей нахохлился и скучает. Иной раз посеред дороги угрызнет грузовик...

Первый снег выпал и сошел. Второй улегся надежно. Вот и все новости. Хотя... одна новинка завелась-таки в убогонькой старушечьей хате. И название у нее заморское — «памперсы». Насколько сильно это явление «кусается», бабка Маруся сообразила скоро. Картошку она продала, пенсию получала исправно, скоро уже и гусей щипать-торговать — Рож-

дество вот-вот. Обычно к концу года в хате заводилась копеечка, а теперь что-то ее нет. Бабка Маруся стала смеяться, что наступил досуг похлопотать в районе о маминой пенсии и, собираясь с гусями на базар, она решила посетить собес. Матери, правда, не сказала, молча захватила ее паспорт...

Воробьевских гусей в районе ценили. Бабка расторговалась, когда еще хмурилось декабрьское утро, и напрямик — в собес. К вечеру подошла ее очередь. Уставшая за день работница взяла у старушки мамин паспорт и с недоумением его разглядывала. Потом встрепенулась и возмутилась:

— Что вы мне голову морочите? Какую вам надо пенсию? Какой еще маме? Вам сколько? Восемьдесят? А-а-а... понятно... А какой сейчас год? Ну да, ну да, двухтысячный. В здравом уме, значит... А месяц? Ну, правильно, декабрь... Ничего не понимаю.

Она с недоумением разглядывала пожелтевший паспорт с буквами СССР на корочке, где на первой странице внизу, в уголке, с фотографии 3х4 застенчиво улыбалась пожилая крестьянка в черном платке, а год рождения этой самой крестьянки обозначался позеленевшими чернилами. Работница позвала:

— Лен, Люд, пойдите сюда, чего покажу.

Из-за соседних столов выпорхнули молодые чиновницы.

— Вот...

— Что? Какого года? 1899? Где это вы такой паспорт взяли? В музей? Какую пенсию? Ну-ка...

Одна из подошедших пощелкала на компьютере.

— Нет у нас в районе таких. Не значитя. Вы, бабуля, не староваты мошенничать-то? Какая еще мама? Нет, ну предположим, мы вам верим. А документы? Что «паспорт-паспорт»? А справки? А нормальный паспорт? Другого нет? Ну, не знаю. Это вам надо с начальником. Только его... Он... Знаете что, сходите в архив... или в райадминистрацию...

Когда столетняя бабка Фрося слегла, она по-настоящему испугалась. Быстро поняла, что голод и раскулачивание в сравнении с беспомощностью — сущие мелочи. Всякий раз, если дочь исчезала надолго из вида, старуха волновалась. А вдруг что с Маруськой? Ей всякий раз грезилось, что дочь так же вот на огороде сломает ногу и будет лежать, пока весной не оттает. Поэтому мать и наловчилась кричать. Как только Маруся замешкается во дворе, бабка Фрося глубоко вдыхает, напрягается и... «Маруся... кхе-кхе... кяааа!» Передышка, и снова: «Маруся... кяаа-аа-ааа». Маруся, услышав придушенное «кяаа-аа-ааа», отвлекается от sprawy, прислушивается и: «Бягуу!!! Бягууу!!!»...

...Давно стемнело. Прикинув, что мама за день изволновалась и сорвала воплями глотку, Маруся безо всяких архивов направилась сразу к районному главе. Благо до электрички оставалось еще время. Ей редко везло, но в этот раз глава сидел в своем кресле. Водитель топтался в приемной, ждал. Секретарша истомилась. Бабулю приняли сразу.

— Что у вас? Откуда? А, Воробьевка? Воробьевочка?

Глава, как и весь район, посмеивался над захолустными воробьевцами. Уж больно потешно те разговаривают. Не «селедка» говорят, а «сяледка», не «пьют молочко», а «ядять молочке». С непривычки так не сразу выговоришь.

— Так. Начет пенсии... А собес что? Вот ведь бара... Ко мне-то за-

чем... отвергались, паразиты... Что еще за паспорт? Ну-ка... Это... Ого! Она что, живая?! Поможем, обязательно! Материальное это, да... Благостояние граждан. Вот ведь экспонат! Наш долг каждому... Принимать участие граждан... Поможем. Да-да. Езжай домой в свою эту... как?.. да-да, Воробьевку, хе-хе! Леночка, зайти! Отчет еще не отправляли? Переделайте... там это... Сколько хрычевке-то? Ну, маме, маме! Сто? Рекордсмен района, показатели переделайте, мол, благодаря действиям руководства средняя продолжительность жизни в районе увеличилась на сколько-то там процентов. Идите, считайте... Все бабуля, домой, домой, к маме. Ждите, поможем... Леночка, запишите ее: кто-что... и все такое...

Потихоньку старушки свыклись со своими обстоятельствами. Поначалу искренне ждали обещанной помощи, потом забылось — перестали. Затянули пояса, как могли, и когда начался Великий пост, они не заметили на своем столе изменений. Бабка Фрося в пост обычно сама шкандыбалась причащаться в соседнее село, где была церковь. Когда она осознала, что для причастия придется приглашать священника домой, беспокоить его, она было передумала... Покумекала, да «куды деноса», и послала дочь за попом.

Батюшка явился через три дня, как и обещал.

— Здрассьте, хозяйки, мир вам. А, Евфросинья! Так вот кто у нас слег! Конечно, как же не помнить! Феноменальная вы. Пятнадцать лет уже каждый пост удивляюсь, когда вы исповедуетесь. Да... Так что вы, готовы? Ну, давайте. Сначала исповедь.

Священник проводил «Маруськю» в «запечкю», чтоб не подслушывала, накрыл болящую епитрахилью и принялся слушать то, что выслушивал от бабушки из года в год. Она, как всегда, расплакалась и зашептала:

— Сколь годов вот уже молюсь, прошу Бога, чтоб прибрал. До финской ишо, когда папаню релюцанеры убили... Потом, когда Петенька в финскую исгинул... Я уж и плачу, все прошу, прошу: Господи, прибири ты мне. За чево мне это... Столь годов, одно молюсь, одно прошу. Маруськя измучилась... Чаво? Пост? А как жа, держим. Чаво? Нет, не ругаймси. Молитвы? Дак я их издетства читаю. Чаво? Как при царе-то жили? Дак, а чаво говорить-то? Все помню... И как церкву у нас строили, и как архирей приезжал. Папаню тогда хвалил, как читает-то на крылосе. Ух, и голосистай был! И как рушили потом... А вот ты скажи: кажинный год все спрашаю, как молиться, чтобы поскорей... За что мне такое наказание Бог послал... Да чево ты все нога-то? Не нога наказание — жисть. Жисть — наказание... Лет сорок уж все прошу, прошу... Какой это тебе грех? Не грех. Грех — это в петлю, руки на себе наложить, а молиться-то рази грех? Какое ишо уныние? Уныние-то, знамо, грех. Да нет уныния-то. Молюсь, говорю, сил нету... На тот свет давно пора...

Батюшка причастил лежащую прихожанку. Перед тем как Маруська его проводила, он пообещал рабе Божьей Евфросинье, что станет молиться, чтоб Господь ее прибрал. Пообещал больше так, чтобы успокоить. Сам он и не думал просить у Бога смерти для своих прихожанок и на первой же литургии вынул частичку «о здравии и спасении рабы Божией Евфросинии». И, подумав, добавил от своего чистого молодого сердца: «И о еже умножитися ей лета живота ея».



...Христово Воскресение в хате встретили весело. Маруська привиди-нула к койке болящей стол, на стол водрузила жареного гуся. Каждую Пасху так. Зубов нет у обеих. Бывает, полижут, пошамкают. Кот уж за всех разговееется. Как смогли, пропраздновали Светлую. Раз соседка в гости заходила, другой раз сосед наведалься...

Накануне Дня Победы Маруська одолела огород — посадила картош-ку. Трещины на руках забились землей, черные пальцы перестали отмы-ваться. С вечера оттирать их она поленилась. Потом пожалела...

А в День Победы радио играло марши, передавало московский парад. Маруська стояла у рукомоЙника и железной щеткой пыталась привести руки в праздничный вид, когда к их дому подрулил «уазик». Из него выпорхнула барышня с фотоаппаратом и ласточкой влетела в хату. По-здоровалась, назвалась корреспондентом районки и велела хозяйкам при-одеться, потому что с минуты на минуту прибудет сам районный глава: проведать старожилов-ветеранов, оказать достойную помощь, а она, зна-чит, это торжество станет фотографировать. Бабка Фрося на своей кроват-и от волнения сразу онемела, а Маруська начала заикаться. С горем по-полам корреспондентке все же удалось выяснить, где у старушек хранятся чистые платки, найти их и повязать обеим «ветеранам» седые головы. Сразу после этого возле хаты закрипела тормозами административная «Волга».

Глава появился в убогом жилище шумно. В руках барышни-газетчи-цы заклацал затвором «Зенит», вспышка ослепила старух и еще больше их взволновала. Гость зашумел «речь», в которой говорилось, в том чис-ле и о достижениях района. Ну, как вот только что на митинге, перестро-иться не успел. Окончив говорить, присел на кровать к болящей бабушке Фросе, расплылся в улыбке, и фотовспышка опять уколола старух сквозь влажные глаза прямо в голову. Что-то говорил глава про оказание помо-щи пожилым, про выборы... От волнения старухи ничего не разобрали. Распрощался почетный гость так же внезапно и шумно, как и появился. Когда он вышел, в хате появился его водитель и сообщил хозяйкам, что всем ветеранам района от лица главы сегодня раздается «матерьяльная помощь» и что их «помощь» он в хату не понесет, оставит на крыльце, «сами потом разберетесь».

После дорогих гостей бабка Фрося и ее старенькая дочь Маруся дол-го сидели друг против дружки, все не могли опомниться. Солнце в рас-шторенное корреспонденткой окошко заливало их комнату лаской. В сол-нечных лучах висели пылинки, растревоженные гостями. Протертые половики заботливая газетчица сгорнула к печке, «чтоб гостям не спотк-нуться». Маруська отрешенно смотрела на древние доски пола. В одном месте, под слоями краски, бугрилась квадратная шляпка гвоздя. Из ще-лей в полу тянуло прохладой и плесенью. Когда она успокоилась, то спохватилась, что не спросила у начальника про мамину пенсию, но было уже поздно. Погоревала, вздохнула. Расправила половики. В окно увидала, что гости бросили калитку распахнутой, и пошла ее закрывать...

...«Матерьяльной помощью для ветеранов» в том памятном году ста-ли сварные мангалы, которыми был завален склад маленького районно-го заводика. Железо, из которого их произвели, назначалось на ремонт вагонов, но некстати приключилась всероссийская независимость и ре-монт вагонов прекратился. Мангалы получились неподъемными, богаты-ми, и сразу ржавыми. Раскупать их никто не торопился. На кой? На мясо-то денег нет. В комплекте к мангалу полагались и шампуры. Их про-

извели из арматуры. Надежно. Однако даже в такой справной комплектации это страшное изделие не брали.

Пыльный мешок, в котором покоился очередной мангал, водитель главы оставил посреди крыльца. Бабка Маруся, шла закрывать калитку, сослепу его не заметила. Споткнулась, упала, сломала ногу, ушибла голову. До сумерек пролежала под праздничным майским солнцем на крыльце. Ни разу не охнула. Временами приходила в память, пыталась подняться, а нога подламывается. Временами теряла сознание, и беззубый рот ее начинал младенчески улыбаться.

Уже в сумерках заглянула соседка — увидела распахнутую калитку, забеспокоилась. А тут и болящая в хате, как раз, принялась петь свое «Маруся... кя-ааа!..»

Черемуха в ту пору еще не отцвела...

Рабу Божию Марию отпевали там же, в хате. До церкви везти машины не нашлось. Хотя, кому ее — машину-то — особо искать? Кое-как пристроили гроб подле маминой кровати. Батюшку соседка привезла — и то ладно. Батюшка еще все жаловался, что тесно, мол, вокруг гроба никак не просунуться.

Гремело кадило, Маруся лежала вся в черемухе и улыбалась...

## НАШЕ НАСЛЕДСТВО

*Обряд — ритуал, церемония, церемониал, совокупность условных, традиционных действий, лишенных непосредственной практической целесообразности, но служащих символом определенных социальных отношений, формой их наглядного выражения и закрепления.*

БСЭ

### I

Одному моему знакомому священнику как-то раз улыбнулось лично поучаствовать в народном обряде. Сам мне по секрету открыл. Дело было так.

После семинарии, когда ему едва исполнилось двадцать три года, он получил назначение в сельский приход. Сразу туда и отправился. Село не маленькое, старинное. Церковь в селе разрушена. Батюшка — в ту пору еще обладал здоровьем, глаза, что называется, горели — вдохновенно принялся за дело возрождения.

Не прошло и недели, как его пригласили на поминки, сороковой день кому-то подошел. Священник помолился с людьми в доме усопшего, затем посетил его свежую могилку. Всюду батюшку сопровождал благообразный старичок по прозвищу Петрович, который в отсутствие батюшки руководил на селе всеми благочестивыми традициями. И вот священник, Петрович и сродники усопшего вернулись с погоста в дом, где уже накрыт поминальный стол. Кадило повесили на гвоздь, совершили у стола молитву, пропели «Вечную память». Батюшку усадили во главе стола, Петровича рядом с ним, «как-никак одно дело делают».

Наполнили чарки, воцарилась тишина, и батюшка произнес в утешение родственникам доброе слово о вечной жизни на небесах. Петрович предложил молодому настоятелю выпить первым. И пока в мертвой тишине священник тянул из своей стопки вонючий самогон, Петрович положил на его тарелку закуску — темный, мягкий, распаренный блин. Забрал у настоятеля опорожненную стопку и указал, что надо, мол, закутить именно этим блином: «Традиция». Батюшка принялся откусывать от прогорклого блина. Пока он ел, народ сидел с поднятыми стаканами и молча взирал. Когда же священник проглотил последний кусок, Петрович воскликнул: «Все! Понеслась душа в рай!» Тут стаканы с грохотом сдвинулись, застолье зашумело и понеслось. Под поминальный гвалт священник поинтересовался у Петровича, что, мол, все это обозначает: тишина, блин на закуску, «понеслась душа в рай»? Тот был удивлен, что священника в семинарии не обучили таким знаменитым исконным обрядам и восполнил пробелы в настоятельских знаниях:

— Попа до тебя у нас лет семьдесят уж как не было, но вот этот обычай все мы знаем. Жила когда-то в нашем селе залетная монашка, от гонений спасалась, что ли. Она-то меня и научила. Когда свежего покойника укладывают во гроб, для него, чтоб душе не было голодно, требуется испечь блин. Один-единственный. Ну, съесть-то его покойник, знамо, не может, вот и укладывают этот блин ему на лицо. Три дня, покуда мертвец в доме, полагается читать Псалтырь. Ну, и блин на лице маслить, чтоб не засох. Потом покойника — на погост, ну а блин — во святой уголок, под иконки. Священное это все, испокон. Ну, а на сороковой день блин с образов сымают, отпаривают и старшему, самому почетному на поминках, полагается священный тот блин вкушать. Как съел — не поперхнулся, так, стало быть, и понеслась душа в рай. И людям отрадно, что так все, свято от века. Раньше тот блин я вкушал, ну, а теперь у нас батюшка есть. Вот ему-то, то бишь тебе...

Настоятеля тогда шибко скрючило. Побежал, даже кадило не успел с гвоздя подхватить.

И традицию эту народную батюшка в своем приходе сразу же пресек.

Поселяне, было, возмутились, да благо, Петрович оказался старичком душевным и кротким, сам отнеся к настоятельским новомодным распоряжениям с пониманием и людей успокоил:

— Батюшка, — говорил Петрович, — молодой, городской, желудком слабый. Вы уж другой раз тот блин потихоньку мне... того... пока он не видит. А то как же... надо ведь, как положено, чтоб душа... в рай. Обычай все-таки.

## II

До рассвета еще целый час.

Именно в такое время Петровна спешит в один из домов, где сорок дней назад кто-то преставился. Ее голова обязательно закутана в черный платок. Зимой и летом — одним цветом. Черная юбка тянется по земле, под мышкой таинственная книга, утратившая от ветхости свой переплет. За такой необычный образ местные обыватели прозвали Петровну монашкой. Она этим своим прозвищем гордится и высоко задирает нос.

Петровна не слыхивала о загробных мытарствах души, Петровна ничего и знать не хочет про Божий суд. В церкви Петровна не бывает и, разумеется, не верит, что когда в сороковой день душа усопшего стано-

вится перед Господом, родственникам надо бы молиться, усердно просить, чтобы Бог простил усопшему грехи и допустил его до райской жизни. Такие подробности Петровну не занимают.

— Покойнику теперь все равно, а нам, — говорит она, — надо сделать, как положено. Как испокон веку делали. Чтоб никто не осудил.

И спешит скорее править свою «сорокоушку».

Вот по ее приказу посреди дома установлен стол — сорокоушка стартовала. На столе — хлеб, чтобы кормить душу, вода, чтобы душу умыть, рушник, чтоб вытирать душе физиономию. Ну, и водочка, чтоб душку поить и утешать. На закуску душе усопшего — холодец. Ну, а если пост, то уж, как водится, по-постному — колбаса. Лучше мягкая «Любительская», ведь с зубами у Петровны дело дрянь. Монашка сама, от имени покойного, опрокидывает стопку, долго беззубо закусывает колбасой. Родственники выстроились поодаль, перешептываются:

— Во, хорошо душке, правильно, что не самогон выставили, а на «Столичную» раскошелились.

Монашка прожевала, стоит задумавшись. Наливает еще. Сродники в недоумении:

— Гляди ты, первая не пошла! Видать, у покойника грехов!..

Петровна опрокидывает вторую, кряхтит, занюхивает буханкой. Зажигает свечу, раскрывает свою замусоленную книгу. Косоглазо в нее глядит, щурится, начинает что-то бубнить. Родственники облегченно вздыхают:

— Слава Богу, покойнику теперь радость. Улетит, как миленький! Ну как бы мы без Петровны...

Монашка заводит свое ритуальное пение сперва полупшепотом, гугниво. Потом «Столичная» Петровну румянит, и ее голос крепнет, крепнет, крепнет... И вот уже внятно промелькивают отдельные жеванные фразы «издревлей молитвы»:

— Отче наш... Ерусалим-Бугуруслан... кипарис-земля сырая... уста-ла-приуснула... дева поднебесная... аллилуйя-ладанка... поникли лютики... живая помощь... Иисус Христос... на нем защитна гимнастерка... вода студена... аминь-аминь-аминь... аминь-аминь-аминь...

Так проходит около часа.

Но вот графин пуст, «молитва» окончена, и наступает пора с душкой прощаться, «чтоб она по ночам по дому не шастала, спать не мешала». Под руководством Петровны народ валит на двор. Здесь на столе уже приготовлен веник и ведро с квасом.

— Хрен в квас добавлять грех! — об этом монашка всегда напоминает, и народ внемлет, греха боится. — Не то душа хреново полетит.

Петровне подносят ковш безгрешного кваса, она отпивает, остатками плескает из ковша в народ. Хватает ведро, веник и отправляется кропить все четыре угла дома. Возвращается, грозно всех оглядывает. Ступает в дом, кропит там, раскрывает окна и начинает в доме шуметь — «покойника изгонять». Пошумев-погромыхав, является к народу и призывает публику глазеть по сторонам, «высматривать душку». Пролетает ли птица, жук, или муха, или просто несет ветром сор, Петровна указывает в сторону летящего предмета и восклицает: «Смотрите! Полетела! Понеслась душа в рай!»

Миссия выполнена, душа в рай. Люди улыбаются. Счастье! «Выгна-ли-таки своего покойничка на небеса!»

А тем временем, пока дом покойного сотрясает традиционная обря-

довая систошляска, он уже прошел все мытарства. Ангелы поставили его перед Божиим престолом. Господь, который своими страданиями на кресте открыл для всех нас райские двери, предлагает рай и новопреставленному. И если тот преуспел в посте, то вполне может отправляться в чертоги, где святые постники. Если же человек преуспел в братолюбии, то место ему среди милосердных братолюбивых святых. Если усопший — истовый причастник, значит ему дорога туда, где святые, что причащались. Но вот беда: новопреставленный — такой же «святой», как и все мы. А значит, ни с постниками, ни с милосердными, ни с причастниками ему не по пути. Не готов! Не делал сего! Ужас! Нет святых подвигов! Зато грех, оказывается!.. Неужели не найдется ему в раю места? Неужели ему отправляться туда, где злые и немилосердные, где сквернословы и чревоугодники, где стоит плач и скрежет зубов? На что теперь надеяться, когда ничего в жизни уже не исправить? Может, хотя бы по горячим молитвам сродников Господь помилует и избавит от мук? Где вы, родственники с вашими молитвами? Где? Прóсите, должно быть, Господа в церк-вах о моем прощении?..

Отнюдь. Сродники, мокрые от кваса, уже за столом. Во главе стола Петровна. Ей хорошо. Она произносит первый тост, за успешный отход души. Потом второй, «за то, чтоб душа не вернулась — не чокаясь». Потом — за свою священную сорокоушку, «а иначе как же? Завсегда-испокон».

И сколько крещеного люда из-за подобных народных традиций осталось без отпевания, без поминовения и без последующих молитв об их упокоении — сие одному Богу ведомо...

Семеныч, когда еще церковь в селе не работала, справлялся раз у Петровны, по какому, де, чину она правит свой ритуал, и не лучше ли почитать Псалтырь, отслужить обедню с панихидой, заказать в каком-нибудь приходе сорокоуст, помолиться? Но та возмутилась:

— Как-как ты сорокоушку называешь? «Сорокоуст»? Болван! А туда же, грамотный! Проводы души — испокон веку, традиция. А ты кто такой?

На этом ее объяснения закончились.

Однажды на священные манипуляции Петровны попал приезжий дальний сродник очередного покойного — человек интеллигентный. Рассказывали, помню, что он с любопытством разглядывал засаленную пожелтевшую книгу, которую «монашка» на минутку оставила на столе. Удивлялся весьма. Откуда, дескать, в исконном центрально-черноземном селе мог взяться этот раритет — «Социалистическое преобразование Советской Чувашии», да еще и изданный на чувашском? Но ему никто не ответил. Вскоре он убрался домой в Чебоксары и больше здесь не показывался.

...С той поры, как в селе открылся и служит-проповедует Божий храм, прошло уже многим больше десятка лет. Слово «сорокоушка» в народе стало, Божьей милостью, помаленьку забываться. Церковная тетрадь, куда Семеныч записывает сорокоусты, год от года толстеет.

Но только иной раз нет-нет, да и видно, как постаревшая Петровна откуда-то бредет чуть свет, пошатываясь.

Традиция, что поделать.

